

Ур84

К78

А-378174-КР

Пётр Краснов

...А без волнения наше
писательское дело
нейдёт...

Лев Толстой



**Сердцем и разумом —
в Слове**

ор 84
К 78

ор 84

84/2 = 411.2/6-46

Пётр Краснов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Сердцем и разумом — в Слове

публицистика

а-348174

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»



Оренбург
2019

КР

**«...А без волнения
наше писательское дело нейдёт...»**
**(Выступления на ежегодных Яснополянских
писательских встречах в 1998–2019 годах)**

«Эти люди — робкие — не могут понять, что лёд трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идет; и что одно средство не провалиться — это идти не останавливаясь... Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим... Нам, людям практическим, нельзя жить без этого».

*Из письма А.Н. Толстого
А.И. Герцену, март 1861 г.*



Анкета из семи вопросов

1. Ваша оценка уходящего XX века? Ваши надежды на новое тысячелетие?

— Главный итог XX века — полное крушение хилиазма во всех его видах, упований на то, что на земле вообще возможно построение хоть сколько-нибудь благополучного (в нравственном и социальном смыслах) сообщества людей. Заблуждения на этот счет, конечно же, опять и опять будут воспроизводиться сторонниками мондиализма и коммунизма, но главная философско-историческая, жизнестроительная опора из-под этих надежд выбита окончательно.

Надеюсь, что Россия на какое-то время (и только) «стабилизируется» в определяющих земную жизнь смыслах — как «удерживающая», чтобы тем самым опять же дать время себе и другим для осознания и постановки решающих проблем онтологического характера. Грубая же материализация существования все сильнее в мире будет вытеснять и уничтожать духовную жизнь, чего не избежим, конечно, и мы.

2. Нужно ли писателю быть учителем?

— Упаси Бог! Наоборот, писатель-то и должен понимать лучше иных, что менее всего он может быть учителем для других людей. «Се-

ять разумное, доброе, вечное» — пожалуй; сеять, если угодно — самовыражаться в своих понятиях добра и зла, но не учить. В этом смысле считаю «учительный» опыт Толстого (не с детьми — со взрослыми) немалой частью его духовной трагедии.

3. В чем Ваша вера? Что спасет мир, если не красота? Что есть истина?

— Насколько я помню, «красота спасет мир» — это из дневников. В художественном же произведении Ф.М. Достоевский эту мысль вкладывает в уста прекрасного человека, князя Мышкина, и придает ей иной оттенок: «Красотою мир спасется». То есть не красота действительна, а миру надо подтянуться до нее, чтобы спастись... Видимо, оттенок, тональность и отличает настоящее от ширпотреба. В наступлении на все земное разноцветье упаковочного, стандартного, «потребительского» дизайна чем же еще миру спастись, как не самобытностью, разнообразием, оттенками — истинной красотой?

4. От чего Вам неуютно, от чего Вы устали? Что Вас радует, в чем Ваш оптимизм?

— Неуютно от правды относительно себя и своего, русского, народа, его так называемой «элиты». Предательства национальных интересов, как в 1917-м, так и в 1991-м годах, были никак не случайны — они имеют глубинные, родовые причины. Ответственность, несмотря на исторические тяготы, мобилизует; нравственная и историческая безответственность и «верхов», и «низов» утомляет и старит народы больше, чем суровые испытания. От этого нынешнего национального безволия, «опущенности» и потери своего лица (чем мы все в той или иной мере больны) и устаешь больше всего.

5. Что радует? На чем отдыхает душа?

— Дети — свои и чужие, но с ними же связаны и самые болезненные тревоги и опасения. Лучший для меня отдых — физическая, отвлекающая на себя мысли работа, предпочтительно плотницкая.

6. Молодая литература — какая она?

— В своих лучших образцах молодая литература все-таки технична, я бы сказал — технологична, с немалым набором изобразительных средств, довольно острого (и тем самым опасного) инструментария. Многое сегодня чем-то напоминает литературную ситуацию начала века, тот наш скорее «люминевый», чем серебряный декаданс — ныне, правда, отшатнувшийся от совсем уж завонявших «либеральных ценностей», патриотический в своих предпочтениях, с большим историческим опытом, осмыслением прошлых уроков. Хотя дряни сочиняется, пожалуй, не меньше. Но и профессионализм тоже бывает разный: в частности, с преобладанием ума (у того же, например, Юрия Козлова — вещи которого, кстати, я с удовольствием читаю) или сердца. Уж чего-чего, а тем и материалов в нашей развороченной до дна «действительности», ставшей самым что ни на есть жестоким сюрреализмом, теперь хватает; другое дело, что из этой достояющей до небес и взывающей к ним кучи обломков брать? Мне кажется, в новом поколении литераторов заметно меньше стало опыта живого, непосредственного чувства, живой жизни языка, той же природы и больше — механики и атомистики распада, треска оседающих перекрытий, воплей «обломков людей» ... Скажут: такова эта самая действительность — и с этим, в общем-то, согласишься. Но куда деть сердце?..

И все же есть молодые писатели, так или иначе продолжающие «традицию сердца», «деревенской прозы», «тихой лирики», назовите как хотите, — мало, но есть. Андрей Убогий из Калуги — человек вроде бы городской, не имеющий столь необходимой, как мне кажется, для пишущего «стереоскопии» взгляда, а именно знания и сельского, и городского образов жизни — этих двух основ народного бытия вообще. Но срабатывает прекрасная, тонкая интуиция художника, и возникает ощущение полноты образа, жизни самой.

7. Что для Вас «малая» родина? Ваша «Ясная Поляна»? Место, которое для Вас значит нечто особенное?

— У меня, слава Богу, «малая» родина есть, не случайная, как у многих сейчас, — настоящая. Это село Ратчино в Оренбуржье, где жил первые свои семнадцать лет. Я постарался воссоздать ее — во времени —

в повести «Высокие жаворонки», и кое-что мне удалось, отсылаю к ней. Езжу туда, и всегда ее, родины, не хватает. Это место, где хотел бы быть похоронен. Там все мои могилы, и все мое живое там.

1998

Борьба и «сопряжение» сурового реализма и утопизма в художественных и философско-этических миропостроениях Л. Толстого

Примерно так определилась тема, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, — тема, как никогда актуальная нынче, в пору всеинтеллигентского разброда, если не сказать — умопомешательства. «У правды нет урочного часа. Ее время всякий раз наступает тогда и именно тогда, когда она кажется самой несвоевременной». Эта мысль, записанная Альбертом Швейцером в самый разгар XX века, как ни к кому другому относится к Толстому, к характеру его мировоззренческих и художественных поисков, к муке его жизни. Он искал ее всю жизнь, Правду, и в поисках ее порой так далеко забредал (то ли от нее, то ли, наоборот, в нее), что снискал одновременно славу и вольнодумца, «ересиарха», и «реакционного идеалиста», и «великого путаника», а то просто ханжи. И в этом смысле он сам широк, как Правда — которая везде и нигде, которая всегда предельно антиномична в своих проявлениях. Человеческая скудельная, самодельная диалектика с ее жалкой логикой даже в малой мере не справляется с мощной и всеобъемлющей, миропострояющей антиномичностью бытия, пасует перед ней; и попытки Л. Толстого выйти, вырваться за пределы не удовлетворявшей внутрен-

не его диалектики — в которой, как в паутине, запутались лучшие умы XIX столетия, — поистине трудно переоценить. Это и примеры поражений ума человеческого, толстовского именно, одного из самых незаурядных (и немногих) во всей мировой истории, и одновременно примеры одоления важнейших проблем бытия единственным, чем только и можно их одолеть — страдающим и сопереживающим сердцем...

Здесь я хочу только обозначить, назвать одну из главных проблем творческой, душевной и духовной жизни яснополянского долгожителя, стариком, как кажется, так и не ставшего: вспомните, с каким почти мальчишеским нетерпением рвался он к знакомству и разговору с Н.Ф. Федоровым, как три раза с трепетом и сомнениями подступался к двери кельи оптинского старца... Необыкновенная подвижность этого ума до конца спорила, ожесточенно и бессильно, с едва ли не детской подвижностью сердца — и не всегда, признаюсь, верится, что небеса, в пакибытии, сумели их примирить...

Тут не приходится говорить о суровом, подчас свирепом реализме, имеющем быть у Толстого начиная с «Севастопольских рассказов» до позднейшей социальной и нравственной критики русского самодержавия как образа жизни и бытия, это общеизвестно. Менее известны, менее рассуждены те выводы и предложения, какие он делал из этого. Конечно, он не сочинял «Как нам обустроить Россию» и вообще был далек от системности как таковой в разрешении государственно-социальных проблем («Я не политический человек...»). Весьма метко сказал об этом Стефан Цвейг: диагноз блестящ, «...но едва... утопист Толстой переходит от диагноза к терапии и пытается проповедовать объективные методы исправления, каждое понятие становится туманным, контуры блекнут, мысли, подгоняющие одна другую, спотыкаются. И эта растерянность растет от проблемы к проблеме».

В этом роде я и употребил термин «утопизм» в отношении Толстого. Но если бы дело ограничивалось одними социально-политическими, как ныне говорится, аспектами человеческой проблематики... В области нравственной и религиозно-философской ситуация складывалась, как это водится «в человецех», еще хуже. Тут диалектика, логика, с горем пополам пригодная еще в прагматике существования, напрочь вытеснялась, вышвыривалась Великой (как принцип бытия) Антиномией:

да, непротивление злу насилем — но если экипаж Толстых встретят на глухой лесной дороге разбойники (и не фольклорные, но — любимое слово наше! — «истинные» головорезы, каким не только чужая жизнь полушка, но и своя шейка — копейка), то Лев Николаевич и дубину, ка-кая потолще, выломает...

Менее всего я хотел бы укорить тут его великую тень. Это болезнь и самозавязки человеческого ума вообще, русского общеинтеллигентского — подросткового еще — сознания в особенности, в этом-то все дело.

И с тех пор мы, как это ни странно и ни печально, мало-таки повзрослели — медленно мелют мельницы Божьи... О крайне низкой интеллектуальной зрелости этой нашей интеллигенции говорит хотя бы такое довольно распространенное еще явление как «явлинщина» — но это так, попутно.

Суть тут, очевидно, в некоем раздвоении творческого мышления Л. Толстого, условно эти два потока можно обозначить как собственно художественный — и публицистический, включая в последний и его религиозно-философские искания.

«Железная», по напору прямо-таки стенобитная (но и, кстати, весьма уязвимая) логика хоть той же статьи «Так что же нам делать?» от этого возможного, в реальных условиях, «делания» не оставляет, на мой взгляд, камня на камне, покидая человека на пресловутое, вольно понимаемое и чаще всего непосильное ему самоусовершенствование. «Опростившаяся» максималистская логика эта куда больше разрушает, нежели созидает, само опрощение превращается в упрощение, сводя все к позитивистскому «полезному», пренебрегая красотой и полнотою жизни как Божьим повелением (вспомним глазковское, грубоватое: «полезен также унитаз, но это ж не поэзия...»). Все это можно, пожалуй, назвать «логическим утопизмом» — в качестве пробного термина; именно им и заражались, заряжались первые «бомбисты», всей этой статистикой вопиющих несовершенств только социального, как им казалось, мироустройства, — чьи последователи-материалисты перекрыли потом эту цифирь не то что вдесятеро — в сотни и тысячи раз. «Зеркало русской революции»? Да нет, великий (без иронии) гуманист один сработал за всю ленинскую «Искру» — и как раз там, куда искры мало долетали...

Но это сверхупорное стремление логической, рассудочной «фомкой» (публицистикой своей и «вероученьем», с осознанным отказом от Православия) взломать замок к тайнам мира сего было в нем, слава Богу, уравновешено тончайшей художнической интуицией, великим сердцем. (Достоевский, кстати сказать, избежал подобного раздвоения — может, потому, что и художественные его вещи были насквозь публицистичны, а вера стойкой.) Не надо, наверное, доказывать, что именно художническим сокровенным видением, сердцем, любовью Толстой размягчил и развязал многие заскорузлые узлы человеческого (своего и своих героев) существования — которые он безуспешно во всю свою долгую жизнь пытался разрубить острейшим мечом логики своей, диалектики, праведного, казалось бы, гнева. Разум, его императивы, та же его хваленая диалектика по сути и природе своей имманентны, принадлежат лишь этому миру, хотя внешне стремятся вроде бы к горнему, духовному, к высшим, онтологическим началам человеческого и всеобщего бытия. Любовь же, сердце подчас предельно антиномичны и заземлены на телесно-душевную жизнь, на быт, на испытания всей и всяческой грязью этого мира — и, тем не менее, именно они единственно трансцендентны в нас, духовны, составляя главное содержание бессмертной души нашей и ее крылья одновременно. (В этом — парадокс, в каком-то смысле даже ирония бытия; впрочем, чего доброго, а иронию-то мы заслужили сполна.) Только любовь преодолевает великую антиномию бытия, только ей дано сопрягать, соединять несоединимое, примирять все противоречия, осуществлять в себе высший синтез, устремляясь к Единому, Предвечному.

Тщетность врачеванья ран в насквозь больном мире (П.Г. Фрайер) и человеческом падшем естестве как таковом всегда была неразрешимой для гуманистов проблемой и всегда вызывала у светской и прочей черни схожую везде реакцию: того же Альберта Швейцера с его «мировоззрением благоговения перед жизнью» в просвещенной Европе называли даже «чудовищем милосердия» ... Диковато? Да. Но и максималистский «логический утопизм» с его критикой всего и вся, с его безвыходностью (кроме как «клин клином вышибать» — ибо вегетарианское «самосовершенствование» не в счет) на врачеванье тоже никак не похож ...

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66